

ВЛАДИМИР САЛИМОН \* НЕВЕСЕЛОЕ СОЛНЦЕ

Владимир Салимон  
**НЕВЕСЕЛОЕ  
СОЛНЦЕ**

стихотворения



«ПУШКИНСКИЙ ФОНД»  
МСМХСІV



✕

И.М.

Всё то, что на ином звали,  
всё склеил с плес долой.  
Одной полови сложил Кашф,  
Таймир — другой полови.

Москву стравил я, как слезу.  
Когда протер глаза,  
увид — нет веры ивещу —  
путьёмимы небеса.

Во всей Вселенной ни души.  
Должно быть, даже Бог,  
творящий подвиги свои  
в пустыне, одиноко.

Случайной встрече не бывает.  
Но если — иногда —  
неско скривит, шуршит прага,  
в руке турлит вода...

Что озадачит ветерок?  
Мне ток воздушных струй?  
А в сердце — юне, а нудю — в лоб,  
а в губы — пожелуй?!

1994

Владимир Амлю

Владимир Салимон

# НЕВЕСЕЛОЕ СОЛНЦЕ

с т и х о т в о р е н и я

«ПУШКИНСКИЙ ФОНД»  
МСМХСІV

Оформление книги  
*М. А. Мордынский,*  
*Е. Ю. Мордынская*  
Марка издательства работы  
*Сергея Семенова*

ISBN 5-87180-031-9

© В. Салимон, 1994

**ПО СЛУЧАЮ ВЕСНЫ**





Весна случится черт те как —  
не вдоль, не поперек,  
вдруг посреди зимы пойдет  
бузить Илья-пророк...

Весь вечер дождь стучал в окно,  
и гром гремел всю ночь,  
стараясь всех нас в порошок  
до срока истолочь.

Я просыпался и лежал  
недвижно в темноте,  
лежали мы — кто на спине,  
а кто — на животе.

Сосед спросонья воду пил,  
и было слышно, как,  
стараясь нас не разбудить,  
он капляет в кулак.

Чудак, он думает, мы спим,  
он думает:  
— ведь вот  
куда как сладко на Руси,  
как крепко спит народ.



Что мы не избежали суеты,  
так это верно. Праздности и лени.  
Кому раз плюнуть — голову сложить,  
кому раз плюнуть — преклонить колени.

В конце концов — не все ли нам равно?..  
Вам все равно: скворец или синица...  
Мне безразлично: дрозд или щегол...  
Но кто сказал, что курица не птица?!

Что пуля дура? Истина в вине?  
Вино и пуля... Господи Иисусе,  
когда бы не был я в Кара-Кале,  
когда бы не жил в Рузе и Тарусе,

я бы не смог свой страх преодолеть,  
перебороть желание со страху  
глазенки жмурить, ушки затыкать  
и задирать на голову рубаху.

Чуть рукавом зацепишься... Чуть-чуть...  
Еще чуть-чуть... И весь гусиной кожей  
покроешься, а это — стол да стул,  
лишь гвоздь в стене,  
лишь вешалка в прихожей.



Хандра по случаю весны,  
тоска — не то чтобы с похмелья,  
нам и без огненной воды  
не до веселья.

Вот — кот болван. Вот — пес кретин.  
Котяра хнычет, плачет псина,  
никак не может отличить  
от англо-сакса угрофинна.

Как саксаул и аксакал,  
как обладатель постной рожи  
с невзрачным деревцем в песках,  
так немцы с венграми похожи.

Поляк и турок. Грек и чех.  
Его натруженного тела  
от бледной немощи моей  
не отличить по сути дела.

Один — такой, другой — сякой,  
но если снизу или сверху  
посмотришь — в сущности ничто —  
пустое место на поверку.



Рубль в кулаке. Нос в табаке.  
Разбушевавшись не на шутку,  
поймешь, что вермут и портвейн  
противны русскому желудку.

Живот прихватит — нету сил  
терпеть пожар внутриутробный,  
двуличность тела и души,  
подлунный мир и мир загробный.

Здесь все — единство и борьба.  
Как омерзительного сходства,  
как безобразного родства  
страшишься собственного скотства.

Одна лишь разница — коня  
загнав, наездница лихая  
и не жива и не мертва  
среди резеды и молочая.

А ты — весь в пене, весь в поту  
загонишь ражую кобылку  
и прыг с нее на всем скаку:  
цоп — сигаретку,  
хватать — бутылку.



Сальто-мортале... В край двора,  
в край крыши, в краешек сарая  
и вверх, и вниз, и раз, и два —  
с оттяжкой бьет воронья стая.

Глаза откроешь — есть забор.  
Глаза закроешь — нет забора.  
Ты за кагором в гастроном,  
а в гастрономе нет кагора.

Конец всему... Хоть в стену лбом,  
под нож, под пулю... В коем разе  
все до единой расплетешь  
причинно-следственные связи.

Когда привычный ход вещей  
тебе претит, по крайней мере  
возьми — и в стенку крюк забей  
чуть-чуть повыше двери.



Грех на душу по молодости лет...  
по старости... посмертные издания... —  
а если ты болван или балбес,  
пельмец и плут и враг чистописанья...

А если ты не то чтоб отличить  
никак не можешь ямба от хоря,  
но — хоть умри — Антонио Грамши  
от Чан Кайши... главверха от старлея.

В который раз твердишь себе под нос:  
— Что за грузин в пинели нараспашку?  
— Что за чуваш, сжимающий фуражку?  
И почему он здесь и для чего?..

Дождь зачастил. Ворона, кое-как  
перебираясь с яблони на грушу,  
своим вороньим глазом обвела  
огнем и солнцем выжженную сушу.

Ей хоть бы что — накаркает беду —  
землетрясенье, лавоизверженье —  
и когти рвать во тьму и пустоту,  
одолевать земное притяженье.



Избави Бог — табак или вино,  
бесценный дар Изоры для порядка  
попробуешь, но сплунешь на песок,  
поскольку станет муторно и гадко.

Так и пойдет все наперекосяк —  
и вкривь и вкось, налево и направо —  
осинки-липки, клены-тополя,  
забор дощатый,  
сточная канава.

Неровен час окажешься в воде  
или доской получишь по загривку  
в кромешной тьме — в Ухте,  
Караганде,  
поворотив с Волхонки на Ленивку.



И к Норовой приедет Чаадаев...  
И на Неопалимовском, в рядок,  
увидит он пять-шесть казенных зданий,  
на крышах снег, на лужицах ледок.

— Смешно сказать, Москва — Столица мира!  
Смешно сказать... Действительно смешно,  
что несмотря на розовый и синий,  
на кухне вечно черное окно.

Погасишь свет, нырнешь под одеяло,  
а утром сам себе: ку-ка-ре-ке,  
ку-ка-ре-ку! — не ты ли по подвалам,  
по коммуналкам спал на кулаке,

на тюфяке под ковриком убогим,  
изображен бесхитростно на нем  
был богатырь сторукий  
и стоногий  
конь богатырский под богатырем.

Конь дико ржал. Конь скрежетал зубами.  
Конь шевелил ушами.

По ночам  
из кожи лез, коняга дорогая,  
погибель предрекая москвичам.



Сам на себя стал не похож,  
а все ж хорош, чертяка —  
по-волчьи воешь, цепку рвешь  
и лаешь, как собака.

Дождь или снег, мороз иль зной,  
в любое время года —  
без измененья — лай и вой  
с восхода до захода.

С утра до ночи: стук и звон —  
тарелки, чашки, блюда  
сейчас обрушатся на пол  
и разом разобьются.

Вдрызг, в пух и прах...  
В конце концов —  
случись что — у поэта  
в запасе нет и пары слов  
на все про все, про это.

Поэт — ведь он не всемогущ.  
Ни в рукаве, ни в шляпе  
нет ни фига — ни там, ни тут.  
Одни часы на лапе.



Снежок обрюзг, ледок обмяк,  
но груды льда, но глыбы снега  
не отзываются никак  
на «ути-ути», «тега-тега».

Чтоб бедной птичнице помочь  
сам звал гусей и кликал уток,  
пока мадера и кагор  
не омрачили твой рассудок.

С ума сойти не мудрено:  
горько-соленая пучина  
и кисло-сладкое вино —  
любая может быть причина.

Вдруг ни с того и ни с сего  
махнет хвостом под самым носом  
не Лебедь Белая, так кто?!  
Кто — остается под вопросом.



Кусты и тени по кустам.  
Мед-пиво по усам.  
«Алабаплы» или «Агдам» —  
догадывайся сам.

Сам до всего что ни на есть  
дойди своим умом,  
превозмоги, преодолей,  
испробуй на излом.

На зуб, на прочность испытай,  
изобличи на глаз  
на что святая простота  
готова хоть сейчас.

Кухарка, прачка, медсестра,  
принявшая горшок,  
и та срывается в сердцах  
с ухмылки на смешок.

Она с улыбкой на устах  
куда как хороша,  
а у тебя в столь грозный час —  
ни бритвы,  
ни ножа.



О чем ты плачешь, прислонясь  
к дверному косяку?  
Да разве так от мясника  
уходят — к мяснику?!

Постой, красавица, не плачь!  
По счастью, в двадцать лет  
нас не пугают небеса,  
где больше Бога нет.

В окно заглядывает ночь  
мерцающим глазком,  
она щекочет нас хвостом  
и дразнит языком.

О как нам хочется порой  
ступить на Млечный Путь,  
хоть напоследок, хоть разок  
под нож подставить грудь.

Когда вонзится в грудь твою  
божественная сталь,  
скажи спокойно:  
— Жизнь прошла,  
но жизни мне не жаль.

## МОТЫЛЕК

На Чарлза Дарвина ничуть  
Фред Хоил не похож,  
должно быть, носит, сукин сын,  
в кармане острый нож.

Он в сердце мне его, смеясь,  
вонзит по рукоять,  
и я, как прежде, Млечный Путь  
пройду за пядью пядь.

Едва вдали забрезжит свет,  
едва у райских врат  
мне руку помощи подаст  
участливый собрат,

я укажу ему во тьму —  
туда, где шар земной,  
как одинокий мотылек  
в пустыне ледяной.

Откуда взяться мотыльку,  
когда за сотни верст  
нет ни живой души вокруг  
мертворожденных звезд.



По правилу левой руки  
большой оттопыренный палец  
укажет — который из нас  
не столь коммунар, сколь версалец.

Трехцветной повязки не скрыть  
под ризой, под мантией папской,  
как глазки свинячьи, клыки  
собачьи — под клоунской маской.

Мне жаль вас, мусье Футрике!  
Но вздумалось Господу Богу  
клубками червей дождевых  
усыпать лесную дорогу.

Их топчет веселый школяр,  
их топчут старик со старухой —  
крестьянка в пуховом платке,  
крестьянин в ушанке безухой.

Апрель. Середина весны.  
Весна. Середина апреля.  
Что Франция мне, мон ами?  
Россия! Страстная неделя!



Исправник Жеребчиков в Вольске  
почитывал Карамзина,  
гадая, Литвой или Польшей  
Россия разорена.

Вина на французах и немцах —  
он думал, очнувшись едва,  
когда непонятно с похмелья,  
где ноги, а где голова.

Вот-вот невеселое солнце  
заглянет во флигелек,  
и станет мучительно больно  
насколько он мал и убог.

Насколько ничтожен и жалок  
тот сорокалетний старик,  
что скрючился под одеялом,  
с рассветом обмяк и поник...

...О будущем страшно подумать.  
О прошлом смешно вспоминать.  
Не лучше ли носом в подушку,  
ничком — на матрас,  
на кровать.



*И. М.*

Стишок к стишку, строка к строке,  
а смысла нет ни в чем,  
по пьянке разве что к стене  
привалишься плечом.

Щекой коснешься ржавых труб,  
как будто мертвых губ.  
Мертвец прижмется к мертвецу,  
как брат к сестре, как мать к отцу.

Кто кроме них перед Творцом  
замолвит пару слов  
за наших дур и дураков,  
за наших мудрецов.

Бессильные оборонить  
сыночка своего  
теньями жалкими они  
снуют вокруг него.

Все уже круг...  
Я все пьяней  
и, верно, с пьяных глаз  
мне мниться нож в груди моей,  
меч пострашней иных мечей,  
меч подлиней, потяжелей,  
меч, острый, как алмаз.

## **ДУРНЫЕ ПРЕДЗНАМЕНОВАНИЯ**





Видение — килька в томате,  
лук репчатый, плавленый сыр,  
соцурившись подслеповато,  
гремит медяками кассир.

И с грохом медным сливаясь,  
стук весел и скрежет колес  
в меня свое жало вонзает,  
как будто комар-кровосос.

Как если бы Господом Богом  
ниспосланный мне за грехи,  
всю ночь книгочей твердолобый  
талдычил мои же стихи.

«Больница, церквушка, сторожка...  
то речка... то роца...» — и так  
чем дальше, тем больше — до дрожи,  
до боли долдонит дурак.

Но кто виноват?.. Неужели  
тому и не хлад и не зной,  
тому и не стук и не скрежет,  
а скверные рифмы виной?..



Дурные предзнаменования —  
в дверях столкнуться с управдомом,  
в пути схлестнуться с Чон Духваном  
и Сиануком Народомом.

Всю ночь с открытыми глазами  
лежать и думать непрестанно  
о всякой всячине, о всякой...  
вплоть до кафе,  
до ресторана,

до гардероба в драмтеатре,  
до проходной на автобазе,  
о том, который на КамАЗе,  
на КрАЗе, МАЗе и БелАЗе.

Друзья! он — парень то что надо!  
Шестые сутки спозаранку  
он храбро давит на педали  
и крутит весело баранку.

Сегодня он загрузит в кузов  
песка ли, глины — безразлично,  
на белом свете — все прекрасно,  
все превосходно,  
все отлично!



Ах, шуры-муры, трали-вали,  
да на гитаре: тень-да-брень,  
а за окном — жасмин китайский  
или персидская сирень.

Китайцы, персы... На поверку  
ты сам китаец или перс...  
Так для каких стихов и песен  
Господь уста твои отверз?

Что делать — песня чужеземца  
всегда горька и солона,  
и так сладка одновременно,  
как черноморская волна.

Глаза зажмуришь — скалы, сосны,  
форосский мыс, судакский пляж,  
плечом к плечу столяр и плотник,  
таксидермист и метранпаж.

На островке вечнозеленом,  
срамное место кое-как  
прикрыв ладошкой, муж ученый  
лежит под солнцем сир и наг.



Пером, не перышком гусиным  
из Гесиода пару строк,  
а изловчившись, что есть силы  
пырнуть сожительницу в бок.

Вообрази, как чуть живая,  
едва очнувшись ото сна,  
повизгивая, подвывая,  
от боли скорчится она.

Ее пронзит холодный пламень,  
подобно молнии прожжет  
кофтюльку с драными локтями,  
не то салоп, не то капот.

Халат с подпалиной под мышкой.  
Корабль с пробоиной в боку.  
Кресты, кусты, заборы, крыши —  
усугубляют грусть-тоску.

Нет чтоб диковинкой какою  
нас позабавить лишний раз  
победоносному герою —  
разграбить Рим, разрушить Трою...  
Самару... Сызрань... Арзамас...



Кто б мог подумать — черноморский  
пейзаж: среди камня и песка  
две-три лачуги, козы, овцы...  
козлы, бараны... грусть-тоска.

Здесь и рыбак бросает якорь  
не так как следует, а как-  
то так, гремя цепями:  
задрипа-цы-па, як-цидрак.

Цидрак-цидрони, лям-пом-по-ни! —  
цепь опускается на дно,  
куда не то что телефона,  
и света не проведено.

Нет, ничего, как ни старайся,  
не разглядишь в кромешной мгле,  
ну разве только склянки-банки —  
горой... на кухонном столе.

Слегка заденешь стол... и что же —  
поскачут наперегонки,  
вприпрыжку желтые осколки  
и голубые черепки.



Собака лает, ветер носит,  
но все равно — собака лает  
вслед за балбесом, за барбосом  
чуть что — бежит, хвостом виляет.

Чуть что — споткнешься, нос расквасишь,  
а если нет — дойдешь до точки,  
до «вот те крест», до «Христа ради»,  
до... «свежевымытой сорочки».

Тебе не слали мебель на дом...  
Ни в Трускавцах,  
ни в Холмогорах  
нет апельсинов — и не надо!  
Но где достать свинец и порох?!



Не спи, глазок, не спи другой,  
и потому ли, что не спится —  
дверь дребезжит, гремит окно,  
со скрипом гнется половица.

И хруст, и треск, и стук, и звон  
услышишь разом — не иначе,  
как скачет кто-нибудь верхом  
на полной дуре — старой кляче

иль на кобылке молодой,  
что крутит носом, вертит задом,  
с утра до ночи рвется в бой  
под Петербургом,  
Сталинградом,

в лесах под Вышним Волочком,  
в полях меж Пензой и Самарой  
обоз французский не уйдет  
ни от гнедой, ни от чубарой.

Бог знает, в зарослях какой  
сельскохозяйственной культуры  
полягут все до одного  
сии труверы... трубадуры...



Опомнишься чуть свет,  
оглянешься — как скоро  
ни ставен на окне,  
ни за окном забора.

Пустырь. Посереди  
лишь сточная канава,  
да чахлые кусты  
налево и направо.

Перо бумагу рвет,  
когда за строчкой строчку,  
бог знает сколько лет  
ты тянешь в одиночку.

И как не надоест  
мотаться без разбору,  
без продыху — то вверх,  
то вниз по кособору?..



Сквозь робкий листопад,  
сквозь порохи и скрипы  
куда ты от своей  
законной, от Ксантипы?

Куда ты, философ,  
без посоха, без шляпы,  
взяв в зубы туесок,  
в опорки сунув лапы?

В сентябрьских закромах  
пошарив, между делом  
вдруг выйдешь на откос,  
изрытый артобстрелом,

вдруг выйдешь на погост,  
на братские могилы,  
впотьмах расквасишь нос  
об наши Фермопилы.

Бог весть у Фермопил  
как мы остались целы,  
но, верно, не страшны  
нам варварские стрелы.



Кто не боялся темноты,  
кто в сумерки хоть раз  
не заползал под простыню  
от страха,  
под матрас,

тот не узнает никогда,  
как там — под простыней,  
как под матрасом, под плитой  
могильной, под броней.

В углу — мышьяная нора,  
и мышь на белый свет  
глядит, глядит который год,  
но видит — стул, буфет,

комод, кровать, квадратный стол.  
В обнимку под столом  
сидят седеющий медведь  
с лысеющим ослом.

Осел кричит. Медведь рычит.  
Из пасти у него  
торчит пластмассовый язык,  
бог знает для чего.



Когда сойдешься поневоле  
лицом к лицу с самим собой,  
чем хвастать станешь — белой кожей,  
а может — кровью голубой?

Но нет в тебе ни капли крови  
князей ни тульских, ни тверских,  
ни Оболенских, ни Волконских,  
Ланских, Хованских, Трубецких.

Не царь, но раб, но червь... Но все же  
и ты недаром хлеб жуешь,  
и я не зря полжизни прожил.  
И ты — хорош!  
И я — хорош!

Осенний ветер воду мутит  
и задувает костерки,  
вокруг которых копошатся  
во тьме крошечной рыбаки.

Они кричат нам:  
— Ребятунки,  
за ради Господа Христа,  
на веки вечные забудьте  
про наши гиблые места!



*Е.Попову*

— Что барин? — Вернулись с охоты  
и тотчас залезли в кровать,  
бранились на ключницу Феклу,  
на Кузьку и Кузькину мать.

За окнами сизые тучи,  
крестьянские избы, на них  
глядишь и невольно бормочешь:  
— Тиран. Феодал. Крепостник.

Василий Петрович Коровкин  
три шкуры с крестьянина драл,  
однако помещичьи кости  
могильный червяк обглодал.

Усадьба вконец развалилась.  
Семья разошлась по рукам —  
по муромским, курским, смоленским,  
тверским и ямским мужикам.

И если теперь ненароком  
спросить у крестьянских детей:  
— Что барин, Василий Петрович? —  
Не скажет никто, хоть убей!



«Корнеев, Горшанов и К<sup>о</sup>» —  
что если пивка для рывка —  
быка за рога...

Дворовую девку за грудь...  
Воспользоваться суматохой —  
уединиться с дурехой,  
ее не жалея ничуть,  
и тискать, и комкать, и гнуть.

Во сне я увижу не то,  
о чем помышлял наяву —  
бесхитростно, немудрено,  
постыдно и пошло живу.

Сплю скверно. С усердием ем,  
но без удовольствия пью.  
Обрек я на верную смерть  
дворовую девку свою.

Другая бы крик подняла.  
А эта — подол задрала,  
готовая, коли припрет,  
и впрямь пострадать за народ.



*С. Семенову*

Когда «Правительственный вестник»  
тебе приносит почтальон,  
с чего начать — в каком уезде  
затеребили бабы лен?..

В какой губернии под вечер  
ловили рыбу мужики,  
да изловили труп калеки —  
то ль без ноги, то ль без руки?..

Бог весть, инспектор рыбнадзора  
или заезжий ротозей  
стал сущей дрянью, полным вздором,  
добычей местных карасей.

Нет, красноносый, синерожий  
не только тот, кто пьет вино,  
но тот, кто жизни суматошной  
смог предпочесть речное дно.

Чуть замечтался... засмотрелся,  
а караси уж тут как тут,  
глядь — прямо в омут, прямо в бездну  
счастливица под руки ведут.



Побойся бога, для чего  
берешься за перо,  
когда бы мог пойти на дно  
по плану ГОЭЛРО?

Когда бы мог на дно попасть  
к лещам и к судакам,  
а там — в уху, а там — в котел  
к веселым рыбакам?

Когда я думая, на что  
способен человек,  
я внутрь себя смотрю, как Вий,  
не поднимая век.

И вижу я в крошечной тьме,  
в безжизненной глуши  
останки жалкие одни  
и тела и души.

Какой непрочный матерьял,  
никчемный и пустой  
попался под руку Творцу  
в субботу — в День Шестой!



Над гладью озера под утро  
стоят навытяжку стрекозы,  
на правом фланге — адмиралы,  
на левом — юнги и матросы.

Сейчас сюда прибудет катер,  
и пучеглазый флоговодец  
пойдет чихвостить и песочить  
сей замечательный народец.

Тритоны, конские пиявки,  
то плавунцы, то водомерки...  
Но только... только что здесь делать  
десятилетней пионерке?

В десятилетней пионерке  
проснулась страсть к естествознанию,  
ей очень нравится работать  
по специальному заданию.

Она сперва тритонов ловит,  
потом она в стеклянной банке  
их морит голодом и жаждой —  
назло Виталию Бианки.

## ЧЕРЕПАНОВЫ

Ефим и Мирон поначалу  
решили создать паровоз,  
а после, чертеж паровоза,  
решил их племянник Аммос.

Он долго за конусом конус,  
цилиндр за цилиндром влетал  
в чертеж, преисполненный смысла,  
в бумагу вонзая металл.

Он ловко на белой бумаге,  
используя перья и тушь,  
машине придал очертанья  
невиданных яблок и груш.

Помимо трубы паровозной,  
помимо колес и котла,  
вполне паровая машина  
на грущу похожа была.

Как яблоко, два полушарья  
в себе сочетала она.  
О как восхитительны были  
ее ширина и длина!



В кустарный промысел, в кусты —  
подальше, поскорей  
отсель — за тридевять земель,  
за тридесять морей.

Уже крошится карандаш  
и вечное перо  
тебе вонзается впотьмах  
под пятое ребро.

Ты хочешь жить, а не дышать?  
(Бедняга Карамзин,  
когда бы он всю жизнь вдыхал  
солярку и бензин)...

Ты хочешь верить и любить?  
А хочешь, дурачок, —  
а в Нарьян-Мар, а в Усть-Сургут,  
а в Вышний Волочёк?

Я не хочу туда — ни-ни,  
нисколечко, ничуть,  
ну разве глазиком одним  
отважусь заглянуть.



На самый крайний случай —  
бубонная чума,  
но все же, все же лучше  
тюрьма или сума.

Уж лучше в «Англетере» —  
веревкой бельевой,  
чем в доме престарелых —  
похлебкой дармовой.

Тебя берут на мушку,  
на пушку, на испуг,  
а ты визжи: — Какая  
черемуха вокруг!

Какой на дне овражка  
прозрачный ручеек,  
бодливая коровка,  
сопливый мужичок!

Как чудно жить на свете,  
как здорово, друзья,  
лежать в траве глубокой —  
в овраге,  
у ручья!



*Ю. Малецкому*

Турецкий бог. Египетская сила.  
В конце концов не все ли им равно —  
им наплевать какого бы разлива  
в соседней лавке ни было вино.

Всю ночь сидят они друг перед дружкой.  
Осман глухой, немой Аменхотеп.  
Вокруг кастрюли, миски, чашки, кружки,  
сыр заскорузлый и замшелый хлеб.

Сто тысяч лет пройдет...

Глаза открою:

Аменхотеп глухой, немой Осман.  
Их было двое, а теперь нас трое,  
но на троих у нас один стакан...

...Так звездочет за солнечным затмением  
следит сквозь закопченное стекло,  
как я на мир взираю с восхищеньем,  
на жизнь иль смерть, иль на добро и зло —

ну по лбу дашь соседу по квартире,  
ну пасть порвешь, ну ребра перечесть —  
за что в ответ получишь в брюхо вилы,  
в затылок пулю либо в спину нож.



Во дни торжеств антинародных  
и всенародных похорон —  
о, что тогда мы станем делать?  
Дразнить гусей?  
Считать ворон?

С трудом по Яузке злосчастной  
баржа плывет и подает  
гудки так страшно, так протяжно,  
как Михельсоновский завод.

Как на заводе Михельсона —  
земля дрожит, чадит труба,  
то раздается рев мотора,  
то револьверная стрельба.

И я, ушам своим не веря,  
иду куда глаза глядят,  
иду, пока ворон считает  
московский пролетариат.

— Одна! — кричит водопроводчик.  
— Вторая! Третья! — вслед за ним  
кричат Анисим — слесарь-токарь  
и лекарь-пекарь Никодим!



Грузинки тощи, точно палки,  
галдят, как галки, осетинки,  
татарки — плачут, ржут — цыганки,  
крестины — тут, а там — поминки.

А там в смущеньи перед нами  
золотокудрая вдовица  
трясет кудрями и не знает,  
как бы с тоски не удавиться.

Сейчас пойдет — петлю набросит  
и, взгромоздясь на табуретку,  
она такую скорчит рожу,  
что в тот же миг на профурсетку,

на прошмандовку с трех вокзалов  
похожа станет:  
руки — плети,  
и ноги — плети...

Или гаже  
нет ничего на белом свете?



Холодком повеяло, подуло,  
потянуло сыростью... Так вот —  
я сначала плечики ссутулю,  
а потом уж выпячу живот.

А потом уж Клязьма или Вязьма,  
все одно — Нева или Протва,  
посмотрю я мертвыми глазами,  
как Иван, не помнящий родства.

— Это что за бяка-закоряка...  
заколяка... черт ее дери...  
«Афанасий,  
я ушла на базу!» —  
и замок амбарный на двери.

На цепи кобель.  
Мосток над речкой.  
За мостком... за речкой... неспроста  
что ни куст — то крест шестиконечный,  
то пятиконечная звезда.



С рассвета ушки на макушке,  
да как иначе... как иначе,  
когда никак «бессамемучи»  
не отличишь от «кукараччи».

В глаза посмотришь — ексель-моксель —  
да это ж Чунчо-барабанщик,  
а никакой не фрезеровщик,  
не бакалейщик и не банщик.

Сейчас он с веничком под мышкой,  
а что когда во тьме кромешной  
вдруг как завоет, как засвищет  
вслед красноточечной... белоснежной...

Ведь вот — ни кожи и ни рожи,  
и все и вся на честном слове,  
но зацепи его попробуй —  
вмиг горы трупов,  
море крови.



Что мужичок, что старичок,  
однако в свой черед —  
кто к черту в пекло, к богу в рай,  
а кто — наоборот.

Судьба — индейка, жизнь... как жизнь —  
постыдна и пуста,  
и так нелепа без любви,  
как церковь без креста.

Сквозь растворенное окно  
сочится лунный свет,  
на стул стекая со стола,  
со стула — на паркет.

Сосед к соседке держит путь,  
и лунный Рубикон  
он переходит, второпях  
не подвернув кальсон.

О чем он думает?  
На что  
надеется, злодей?  
Ему без боя не отдам  
я Галлии моей!



Между прошлым и будущим, скажем —  
еле-еле, с грехом пополам —  
все же втиснем действительность нашу,  
рассуем по щелям,  
по углам...

По ночам, когда черная туча  
из-за синего моря встает,  
что ты видишь — могучие груди  
или шерстью заросший живот?

Что ты слышишь, когда в полумраке  
за окном громыхает гроза,  
и соседка твоя, чуть не плача,  
закрывает со страху глаза?

На пространстве, у Господа Бога  
отвоеванном нами с тобой,  
мы сидим между Курском и Омском,  
Лисьим Носом и Двинской Губой.

Нос задрал и губу оттопырив,  
зря старается Матушка-Русь —  
я ловлю ее взгляды косые,  
но нисколько ее не боюсь.



В жестянке из-под монпансье,  
в коробке из-под мармелада  
кошмарный жук, ужасный шмель,  
еще два-три каких-то гада

шуршат, жужжат... Ревут, гудут.  
Ни крыльев свист, ни скрежет лапок —  
хруст позвонков, и ног и рук  
при поворотах с боку на бок.

Справа-налево, как один  
поворотились друг за другом  
вокруг неведомой оси,  
сраженные одним недугом.

Одной болезнью весь народ —  
мал мала меньше — без остатка  
трясемся так, как будто бьет  
тропическая лихорадка.

В предвосхищеньи смертных мук,  
в жару, в бреду... в едином целом  
несовместимы стали вдруг  
душа живая с мертвым телом.



Из гнилостных недр Камеруна  
над озером Ниос клубами  
взвились ядовитые газы  
и сшиблись чугунными лбами.

Я в ужасе бросился наземь,  
туда, где под пальмой высокой  
торчали лиловые камни,  
поросшие редкой осокой.

Я вскрикнул от страха и тотчас  
очнулся в плацкартном вагоне,  
один — в окруженье кавказцев,  
жующих и пьющих мацони.

Кавказец в мерлушковой шапке  
огромную гроздь винограда,  
смеясь, протянул мне, но гордо  
сказал я кавказцу: — Не надо!

И молча уткнулся в окошко,  
в до боли знакомые лица:  
то поле, то речка, то роща,  
сторожка, церквушка, больница.

## СПИСОК НЕВОСПОЛНИМЫХ УТРАТ





Не видала Москва таракана!  
Он и вылез себя показать.  
Я и вытряс ключи из кармана,  
завалились они за кровать.

Закатился пятак за подкладку.  
Как ни бился я — этак и так —  
рвал клыками треклятую тряпку,  
чтоб добыть свой законный пятак.

Чтоб ключи отыскать под кроватью,  
драл когтями загаженный пол,  
искарябал его, исцарапал,  
а ключей все равно не нашел.

Портсигар, зажигалка, бумажник,  
авторучка и зонт-автомат —  
пополняю то рюмкой, то чашкой  
список невосполнимых утрат.

Счет потерям растет соразмерно,  
но не силе когтей и клыков —  
крайней степени грехопаденья,  
размягченья костей и мозгов.



По чести, по совести — или  
ни чести, ни совести — но  
под вечер язык обессилил,  
с воды перейдя на вино.

И сделался косноязычен  
вошедший во вкус краснобай,  
я кончил бы койкой больничной,  
когда бы хватил через край.

Когда меня крутит и вертит,  
кромсает, ломает и мнет,  
тогда между жизнью и смертью  
мотаюсь всю ночь напролет.

Шум адский и райское пенье  
в сгущающейся тишине  
среди мерзости и запустенья  
все явственней слышатся мне.

Как ангелы ни голосисты,  
но Божьего слова сильней —  
хруст косточек, треск сухожилий  
и свист сыромятных ремней.



С высоким штилем не в ладах  
привычный антураж —  
чердачный пух, подвальный прах,  
C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>ОН.

Обычай пить все что ни есть  
и есть все, что не пьют, —  
известный сызмальства тебе  
немыслимый маршрут.

Не во спасение души  
ты умерщвляешь плоть,  
а шутки ради норовишь  
ужалить, уколоть.

Не в бровь, но в глаз. Не в глаз, так в нос.  
Она едва жива.  
Чуть шевельнешь рукой... ногой —  
чуть-чуть... едва-едва.

И станет ясно — проку нет  
в ноге или руке.  
В последний путь во тьме, во мгле —  
все лучше налегке.



Герань. Гитара. Канарейка.  
А за окном — узкоколейка,  
окутанная мглой,  
едва заметная лазейка  
меж небом и землей.

О если бы не паровозик,  
карабкающийся в небеса —  
и у меня бы слезы  
не навернулись на глаза.

Не прослезимся ни за что:  
дождь проливной, мороз трескучий —  
в конце концов собьемся в кучу.  
На нем тулуп. На мне пальто.

Но ветра свист и запах дыма,  
однообразный стук колес,  
на нас воздействуя незримо,  
вмиг доведут до слез.

От счастья или от обиды,  
что жизнь проходит стороной,  
заплачешь, брызжа ядовитой  
ликеро-водочной слюной.



Что скажет чистильщик сапог,  
когда увидит он копыта,  
не те, которыми земля  
на горных пастбищах изрыта?

Тот, кто копытом землю рыл,  
тот был рогатым и хвостатым,  
но не горбатым, не хромым,  
ногохромым,  
спиногорбатым.

Всегда готовым ко всему —  
к разору, сговору, разрухе,  
хоть молодуху ущипнуть,  
хоть присоседиться к старухе.

Наутро глянешь — из нее  
едва-едва не вытряс душу,  
ее трухлявое нутро  
едва не вытряхнул наружу.

И ни жива и ни мертва.  
Лишь кончик носа, мочка уха  
изобличают — черта с два —  
жива старуха!



Под платьицем партикулярным,  
подумать только! е-мое,  
ремни, подтяжки, крючья, пряжки,  
не то тряпье, не то белье.

Не то чтоб крестик под рубахой,  
не то чтоб штрипки от кальсон,  
все это вместе так ужасно,  
так жуток бред, так страшен сон.

Такое разве что с похмелья  
привидится в кромешной тьме,  
вдохнешь, глазам своим не веря:  
— Ах, брат, в своем ли ты уме?

Ты от работы непосильной  
или от страсти роковой  
ума чуть было не лишился,  
не повредился головой?



Душа Тряпичкин, на Почтамтской,  
когда продуюсь в пух и прах,  
сниму квартирку — тесно, смрадно,  
хозяйка щиплется впотьмах.

Широкогруда, толстозада,  
в ночной чепец облачена,  
когда бы знал ты, боже правый,  
как больно щиплется она.

Как трудно дышится в объятьях  
великовозрастных матрон.  
Скрипят и гнутся кости наши,  
и треск и хруст со всех сторон.

Чуть свет является старьевщик.  
— Старье берем! — кричит старик.  
Старье берем!.. Едва очнешься  
и сам срываешься на крик.

— Я сам, старьевщик, цену знаю,  
я знаю всем своим стихам:  
хромает рифма, ритм хромает...  
Почто тебе весь этот хлам?!



Алене Ивановне можно  
снести драгоценную брошь,  
а можно — в могучую спину  
всадить полицмейстеру нож.

В окно запотевшее глядя,  
что видишь ты перед собой?  
Лужок за чугунной оградой.  
Флажок над фабричной трубой.

А кроме трубы и ограды,  
а кроме флажка и лужка —  
в протертой до дыр гимнастерке  
с метелкой в руках мужика.

Мужик тротуар подметает —  
налево, направо метет,  
и ясно, что жизнь не подарок,  
и вовсе — не сахар,  
не мед.

Кто знает, по милости Божьей  
она солона и горька,  
но хочется верить, что все же  
Всевышний свалил дурака.



В отсутствие Бога и Бога  
неважно — предашь, не предашь —  
всех разом блажных и убогих,  
со взятыми на карандаш,

на мушку...

Им некуда деться.

Но что из того, коли так,  
но что из того, коли сердце  
ни меньше, ни больше — с кулак...

Каблук твой вонзается в землю,  
как будто кирзу, а не хром  
по пьяному делу туземцы  
всучили тебе за бугром.

Как будто имеет значенье,  
вонзился каблук или нет  
и чей на задворках Вселенной  
навек останется след.



Все это Яков Перельман  
придумал нам во зло,  
живому слову предпочтя  
бесплодное число.

Что есть длина и ширина?  
Что, если высота  
роднит физический закон  
с загоном для скота?

В трехмерном космосе, когда б  
не триединый Бог,  
и я сидел бы, как завмаг,  
засаженный в острог.

Но, славу богу, надо мной  
не вечной мерзлоты  
дыханье слышу я, но звон  
рождественской звезды.

Звезда звенит, звезда горит  
и проливает свет  
на ГОСКОМТРУД, ГОССНАБ, ГЛАВЛИТ,  
ГЛАВАТОМ,  
ВТОРЧЕРМЕТ.



Не то чтоб очень далеко  
и высоко не слишком,  
но всяк себе и царь и бог —  
живет своим умишком.

Вчера — главбух иль военврач,  
сегодня — слесарь, плотник,  
старик с младенцем на руках,  
спешащий на субботник.

Когда, споткнувшись, упадешь  
посреди дороги,  
сейчас какой-нибудь урод  
охотно вытрет ноги.

Что до наличья ног и рук —  
как всякое уродство  
любой порок, любой недуг  
усиливает сходство.

Один лежит. Другой стоит.  
А если бы не это —  
и с двух шагов не отличить  
блондина от брюнета.



Столица — пуп. Провинция — пупок.  
Под простыней гостиничной нащупал  
обвислый зад, ввалившийся живот...  
Прогнивший пол. Обрушившийся купол...

В руинах все — и камень и металл,  
но человек следит без содроганья  
за тем, как расплзается по швам  
последняя твердыня мирозданья.

Сей Божий град. Сей город...  
Так урод  
без состраданья смотрит на калеку,  
когда в трамвае или же в метро  
урод с калекой едут через реку.

Урод жует свой собственный язык.  
Калека громыхает костылями.  
Трамвай стучит, грохочет, дребезжит.  
Метро бежит, журчит промеж камнями.

Что там звенит? Прозрачный ручеек?  
Кастальский ключ?  
Источник Аретузы?  
А если так, зачем и отчего  
на горничной зеленые рейтузы?!



Чуть только с духом соберешься,  
как невзначай испустишь дух,  
чуть разгулялся, разошелся —  
глядь уж раскис... уже протух...

Пеньком трухлявым засветился,  
малоприметным маячком,  
как между Сциллой и Харибдой —  
промеж горшком и стульчаком,

корытом, тазом, шкафом, койкой.  
Кровать скрипит. Трещит комод.  
А за окном всю ночь рокочет  
чудовищный водоворот.

Пока гребцы табанят весла  
и поворачивает вспять  
злосчастный Арго, тычась носом  
когда — в комод, когда — в кровать, —

Земля! — кричит впередсмотрящий,  
хотя по курсу корабля:  
кухонный стол, посудный ящик,  
черт знает что, но не земля.



Империя! Ах если б Император  
с Императрицей... Если бы — кабы:  
ни обостренья классовой борьбы,  
ни дележа на бедных и богатых.

Как бы не так — сэр Скайреш Болголам,  
низкокаблучник и остроконечник,  
когда спросонья требуют подать  
ему в постель и свечку, и подсвечник,

и стул, и стол, и письменный прибор,  
тогда слуга, достав из-под комода,  
ночной горшок бедняге подает.  
Тогда... Зюйд-ост... Прескверная погода.

Тогда в пивной укрывшись от дождя,  
едва шевелишь пьяными мозгами,  
перебирая сводниц и бродяг:  
в пальто и шляпе, в шортах и панаме.

Твоей подружке нет и двадцати.  
Ей хоть бы что — все запросто и просто:  
хоть снизу вверх по Млечному Пути,  
хоть сверху вниз с Вестминстерского моста.



И пишется и дышится легко,  
как дурачка, без видимой причины,  
тебя влечет не пиво, не вино,  
но сладковатый привкус дармовщины.

Дурная шутка, скверный анекдот,  
между женой и мужем перебранка —  
вдруг привлечет внимание твое  
финикиянка или египтянка.

Чуть угловата, несколько худа,  
прямая спинка, тоненькая шейка.  
На шейке жилка каждая видна.  
Не христианка и не иудейка.



Вверх дном — не то что вверх ногами,  
вниз головой — но как до дна  
сковороду ни выскребаешь,  
сковорода черным-черна.

Черна кастрюля. Чайник черен.  
Ты сам едва ли не с тоски —  
зубодробильной, горлодерной —  
чернее угольной доски.

Ты, точно угольщик, обуглен.  
Лишь нечто вроде уголька  
мерцает слабо, светит тускло  
из глубины, издалека.

Будь позабористее ветер,  
дождь пошустрей, пошибче град,  
вмиг превратится в горстку пепла  
хоть партократ, хоть демократ.

Интеллигент чистопородный,  
крестьянский сын, рабочий класс —  
Венец творенья, Царь природы —  
угаснет тотчас.  
Сей же час.



Всего делов-то: стул да стол,  
комод да койка, кот да кошка,  
но кот чуть свет махнул во двор,  
а кошка юркнула в окошко.

Она с карниза смотрит вниз —  
на дно двора, на дно колодца,  
хвост поджимает и дрожит,  
все кажется — вот-вот сорвется.

Вот-вот обрушится карниз,  
и вслед за кошкой, вслед за нами  
к чертям собачьим полетит  
весь этот город вверх ногами.

Заводы, фабрики, мосты,  
дворцы и хижины...  
Едва ли  
чтобы на маковках кресты,  
на шпилях звезды устояли.



Посредством книжек — тыр да пыр,  
как самовар посредством шишек,  
раскочегаришь, глянешь — дым  
валит с подножек... из-под мышек.

Дым из ушей, пар изо рта.  
Бог знает, в цирке или в бане,  
не то в купальне господа,  
не то в едальне громодяне.

Спиной к спине. Лицом к лицу.  
— Хиба це фрухт? — хохол кацапу.  
— Враги все врут! — кацап хохлу.  
Шлеп по затылку. Цоп за шляпу.

И врассыпную — кто куда.  
У доброй женщины под юбкой  
подвал навроде чердака,  
гибрид светлицы с душегубкой.

Там духота.  
Там красота.  
Сидишь, дрожишь, а рядом где-то  
друг дружку лупят два дружка:  
хохла — кацап,  
эсер — кадега.



Нога устала быть ногой,  
рука рукой устала,  
домой придешь — сейчас за стол,  
затем — под одеяло.

Под утро выпучив глаза,  
глядишь, не понимая,  
что за мура, за ерунда,  
за невидаль такая.

Так свет и тень переплелись —  
из белой стала черной  
чудная дверь на полпути  
меж ванной и уборной.

— Лаз на чердак  
  иль спуск в подвал,  
чулан или кладовка,  
что там за дверью?

— Там у нас  
крюк да веревка.



Глоток — один, другой — так что же!  
Ну сморщишь нос...  
Ну скривишь рот...  
Вчера весь вечер корчил рожи,  
всю ночь шатался взад-вперед.

Наутро охал что есть мочи,  
кряхтел, пыхтел по мере сил,  
как ни трепал себя за щеки —  
на место нос не водрузил.

Не растянул в усмешке губы,  
лишь только высунув язык,  
смотрелся в зеркало и думал:  
— Язык мой черен и велик.

Он весь растрескался от жажды  
и развалиться на куски  
готов однажды,  
точка кратер  
или лакиф —  
на черепки.



О смутном времени — едва ли,  
скорей о чем-нибудь таком,  
о чем — ни ватными губами  
и ни суконным языком.

Июньский день идет на убыль.  
Он погружается во мрак —  
торчат одни столбы да трубы,  
колосс Родосский да маяк

Александрийский.

Скоро полночь.

Старик-сигнальщик чуть живой  
с трудом карабкается в гору  
по лестнице, по винтовой.

— Ты кто? — Я Клиний из Милеты.  
А ты? — А я... ему в ответ  
бубню, что мочи больше нету,  
что чая нет, что кофе нет.

Позавчера давали мыло,  
и мне досталось полкуска —  
что ж, голова моя плешива,  
спина горбата, грудь узка.



Все то, что на плечи взвалил,  
все скинул с плеч долой.  
Одной полой смахнул Памир,  
Таймыр — другой полой.

Москву страхнул я, как слезу.  
Когда протер глаза,  
узрел — нет веры ничему —  
пустынны небеса.

Во всей Вселенной — ни души.  
Должно быть, даже Бог,  
творящий подвиги свои  
в пустыне — одинок.

Случайной встрече — не бывать.  
Но если — иногда —  
песок скрипит, шуршит трава,  
в ручье журчит вода...

Что означает ветерок?  
Лишь ток воздушных струй?  
А в сердце — нож, а пулю — в лоб,  
а в губы — поцелуй?!



Все родину боишься потерять,  
все растерять боишься, затеряться  
так точно на задворках Кобеляк,  
как в закоулках Лунда или Граца.

Целуй же в лоб меня и уходи,  
едва-едва на цыпочки вставая,  
едва-едва... репы да лопухи  
и вокруг крыльца и около сарая.

Куда ни глянешь — Кто это такой?..  
Кого ни спросишь — Что это такое?..  
Тебе в ответ — горбатый да хромой —  
то лес зеленый, небо голубое!

То городок, заводик, тупичок,  
на тюфячке лежащий мужичишка,  
как грецкие орешки у него  
коленки, а головка — точно шишка.

Шишкообразный череп выдает  
могучий ум, недюжинную силу —  
хоть степь паши, тyani газопровод,  
таскай кирпич или копай могилу.

## СОДЕРЖАНИЕ

### По случаю весны

«Весна случится черт те как...» . . . . .	7
«Что мы не избежали суеты...» . . . . .	8
«Хандра по случаю весны...» . . . . .	9
«Рубль в кулаке. Нос в табаке...» . . . . .	10
«Сальто-мортале... В край двора...» . . . . .	11
«Грех на душу по молодости лет...» . . . . .	12
«Избави Бог — табак или вино...» . . . . .	13
«И к Норовой приедет Чаадаев...» . . . . .	14
«Сам на себя стал не похож...» . . . . .	15
«Снежок обрюзг, ледок обмяк...» . . . . .	16
«Кусты и тени по кустам...» . . . . .	17
«О чем ты плачешь, прислонясь...» . . . . .	18
Мотылек («На Чарльза Дарвина ничуть...») . . . . .	19
«По правилу левой руки...» . . . . .	20
«Исправник Жеребчиков в Вольске...» . . . . .	21
«Стишок к стишку, строка к строке...» . . . . .	22

### Дурные предзнаменования

«Видение — килька в томате...» . . . . .	25
«Дурные предзнаменования...» . . . . .	26
«Ах, шуры-муры, трали-вали...» . . . . .	27
«Пером, не перышком гусиным...» . . . . .	28
«Кто б мог подумать — черноморский...» . . . . .	29
«Собака лает, ветер носит...» . . . . .	30
«Не спи, глазок, не спи другой...» . . . . .	31
«Опомнишься чуть свет...» . . . . .	32
«Сквозь робкий листопад...» . . . . .	33
«Кто не боялся темноты...» . . . . .	34
«Когда сойдешься поневоле...» . . . . .	35
«— Что барин? — Вернулись с охоты...» . . . . .	36
«Корнеев, Горшанов и К <sup>о</sup> ...» . . . . .	37
«Когда «Правительственный вестник»...» . . . . .	38
«Побойся бога, для чего...» . . . . .	39

«Над гладью озера под утро...» . . . . .	40
Черепановы («Ефим и Мирон поначалу...») . . . . .	41
«В кустарный промысел, в кусты ...» . . . . .	42
«На самый крайний случай...» . . . . .	43
«Турецкий бог. Египетская сила...». . . . .	44
«Во дни торжеств антинародных...» . . . . .	45
«Грузинки тощи, точно палки...» . . . . .	46
«Холодком повеяло, подуло...» . . . . .	47
«С рассвета ушки на макушке...» . . . . .	48
«Что мужичок, что старичок...» . . . . .	49
«Между прошлым и будущим, скажем ...» . . . . .	50
«В жестянке из-под монпансье...» . . . . .	51
«Из гнилостных недр Камеруна...» . . . . .	52

### Список невосполнимых утрат

«Не видала Москва таракана...» . . . . .	55
«По чести, по совести — или...» . . . . .	56
«С высоким штилем не в ладах...» . . . . .	57
«Герань. Гитара. Канарейка...» . . . . .	58
«Что скажет чистильщик сапог...» . . . . .	59
«Под платицем партикулярным...» . . . . .	60
«Душа Тряпичкин, на Почтамтской...» . . . . .	61
«Алене Ивановне можно...» . . . . .	62
«В отсутствие Бога и Бога...» . . . . .	63
«Все это Яков Перельман...» . . . . .	64
«Не то чтоб очень далеко...» . . . . .	65
«Столица — пуп. Провинция — пупок...» . . . . .	66
«Чуть только с духом соберешься...» . . . . .	67
«Империя! Ах если б Император...» . . . . .	68
«И пишется и дышится легко...» . . . . .	69
«Вверх дном — не то что вверх ногами...» . . . . .	70
«Всего делов-то: стул да стол...» . . . . .	71
«Посредством книжек — тыр да пыр...» . . . . .	72
«Нога устала быть ногой...» . . . . .	73
«Глоток — один, другой — так что же...» . . . . .	74
«О смутном времени — едва ли...» . . . . .	75
«Все то, что на плечи взвалил...» . . . . .	76
«Все родину боишься потерять...» . . . . .	77

Салимон Владимир Иванович  
**Невеселое солнце**  
«Пушкинский фонд», Санкт-Петербург, 1994

Редактор *Г. Ф. Комаров*  
Корректор *В. Г. Комарова*

Отпечатано в типографии ППП 1-7,  
Павловск, Марата, 12.  
Зак. 838. Тир. 1000